



Сердце
без короны

Дана Рэйн

18+

Дана Рэйн
Сердце без короны

«Автор»

2026

Рэйн Д.

Сердце без короны / Д. Рэйн — «Автор», 2026

Элино́р Вейл выросла в старейшей библиотеке Кембриджа и посвятила себя эпохе Тюдоров. Больше всего её занимала Анна Болейн — женщина, в которой видели то жертву, то соблазнительницу, но редко пытались понять по-настоящему. На лекциях загадочного Оуэна Дюбуа прошлое вдруг перестаёт быть безопасной темой для споров. Рыжеволосый, язвительный, пугающе красивый, он говорит о Генрихе VIII так, будто знал его лично. А когда Элино́р приходит на Хэллоуинский бал в образе Анны Болейн, с алой лентой на шее, Оуэн требует, чтобы она немедленно сняла её. Элино́р приходит в себя в XVI веке — в теле Анны после рождения Елизаветы. Вокруг двор Тюдоров, где улыбка может быть опаснее угрозы. Рядом Генрих: властный, притягательный, слишком живой для человека из учебников. И Оуэн. Тот, кто будто связан с королём сильнее, чем возможно. Элино́р предстоит не только выжить в чужом времени. Ей придётся понять, кого она любит: короля, который привык брать своё, или мужчину, который ради неё должен стать собой.

© Рэйн Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Девочка у дверей	5
Глава 2. Оуэн Дюбуа	9

Дана Рэйн

Сердце без короны

Глава 1. Девочка у дверей

О той ночи, когда меня нашли у дверей библиотеки, я не помнила ничего. И, пожалуй, именно это раздражало меня сильнее всего: у каждого человека должно быть начало, пусть даже самое обыкновенное, неловкое, семейное, с больничной биркой, усталым лицом матери, первым снимком в слишком большом пледе. У меня вместо этого была корзина у служебного входа, старая ткань, алая лента, засушенная тёмная роза и Бесс — женщина, которая умела молчать так основательно, что рядом с ней любые вопросы быстро начинали казаться детскими.

Когда я была маленькой, она говорила, что нашла меня очень спокойной. Я лежала в корзине и почти не плакала, будто уже тогда понимала: если кричать слишком громко, можно привлечь не тех людей. Этот ответ меня не устраивал ни в семь лет, ни в двенадцать, ни позже, когда я научилась задавать вопросы так, чтобы взрослым было труднее от них уйти. Бесс всё равно уходила. Не резко, не грубо, но с той безупречной вежливостью, после которой спорить становилось почти неприлично.

— Ты была ребёнком, Элинор, — говорила она. — Очень маленьким ребёнком. Остальное пока не важно.

Слово «пока» в её устах всегда звучало подозрительно. Не как обещание рассказать позже, а как предупреждение: не трогай то, что ещё не в силах осознать и выдержать.

Я выросла в старой библиотеке при одном из кембриджских колледжей. Не буквально между стеллажами, конечно, хотя иногда мне самой казалось именно так. У меня была комната, школа, документы, простуды, нелюбовь к овсянке и вполне обычные детские обиды, но всё главное в моей жизни всё равно происходило рядом с книгами: первые уроки, первые ошибки, первые самостоятельные решения и первые тайны, из-за которых детство постепенно становилось чем-то более сложным.

Бесс была хранительницей закрытого фонда. Не библиотекарем в привычном смысле, не той доброй женщиной, которая помогает студентам найти нужный зал и делает вид, что не замечает просроченных книг. Бесс могла быть доброй, но её доброта никогда не была мягкой. Она выражалась в том, что на моём столе появлялся ужин, если я забывала поесть; в том, что она без лишних слов оставляла у двери плед, когда я засыпала над конспектами; в том, что ни один человек, пришедший в библиотеку с плохими намерениями, не задерживался там дольше нескольких минут.

Её уважали даже профессора, которые привыкли говорить с миром свысока. При Бесс они понижали голос. Не от страха, скорее от ощущения, что находятся рядом с вещами старше их кафедр, степеней и уверенности в собственной правоте. Она знала каждый закрытый шкаф, каждый старый каталог, каждую рукопись, которую нельзя было выдавать без специального разрешения. А ещё она знала обо мне больше, чем говорила.

С детства мне позволяли многое. Я могла сидеть в читальном зале после закрытия, смотреть, как Бесс перебирает карточки, учиться разбирать латинские сокращения в описях, держать в руках книги, к которым аспирантов подпускали только после подписей и инструктажа. Но в библиотеке были двери, которые не открывались даже для меня. Одна находилась в дальнем коридоре, за комнатой редких географических карт. Тёмная, тяжёлая, без таблички, с латунной ручкой, отполированной чужими ладонями. Именно отсутствие таблички выдавало её лучше любой надписи: там хранилось нечто такое, о чём не хотели сообщать даже случайным взглядом.

Впервые я спросила о ней в семь лет. Бесс тогда закрывала ящик каталога, а я стояла рядом и уже понимала, что, если взрослый отвечает слишком быстро, значит, ответ приготовлен заранее.

— Там архив, — сказала она.

— Все комнаты здесь архив.

Бесс посмотрела на меня поверх очков.

— У тебя опасная привычка замечать очевидное.

— А у тебя опасная привычка не отвечать.

Она тогда рассмеялась тихо, почти беззвучно. В такие редкие минуты в ней можно было увидеть не хранительницу, не строгую женщину с ключами от закрытого фонда, а человека, который однажды нашёл у дверей младенца и почему-то решил взять на себя всю его будущую жизнь.

О моём появлении я знала немного. Меня нашли вечером тридцать первого октября. Бесс никогда не называла эту ночь Хэллоуином. Для неё это был канун первого ноября или Самайн — старое слово, которое в её произношении не звучало театрально. Она произносила его спокойно, почти буднично, как называют дату, связанную с семейной утратой или давним, почти забытым обещанием.

По её словам, в тот вечер она возвращалась из закрытого фонда, когда услышала стук у служебного входа. Не плач, не крик, не шаги. Именно стук — короткий, отчётливый, будто кто-то ударил костяшками по дереву и сразу ушёл. За дверью стояла корзина, а в корзине лежала я.

— И больше никого? — спрашивала я каждый год, меняя только тон.

— Больше никого.

— Камеры?

— У той двери тогда их не было.

— Следы?

— Шёл дождь.

— Значит, следы были.

— Значит, дождь их смыл.

На этом месте разговор обычно заканчивался. В детстве я злилась открыто, потом научилась делать вид, что мне всё равно. Это была удобная ложь: не слишком красивая, зато почти железобетонная.

Позже я узнала больше, но не от Бесс. Я нашла обрывки в административных письмах, в копиях документов, в старых справках, подшитых так аккуратно, будто аккуратность могла заменить правду. Со мной были три вещи: ткань, в которую меня завернули, алая лента и засушенная роза такого тёмного оттенка, что в детстве я назвала бы её чёрной. Теперь я знала, что чёрных роз не бывает. Бывают красные, которым дали высохнуть и потемнеть до цвета запекшейся крови.

Был ещё лист из старой книги. Об этом в документах не говорилось. Бесс либо никому его не показывала, либо умела замечать следы лучше, чем я представляла. Я узнала о нём случайно — по слишком короткой фразе в черновой описи, которую кто-то потом вычеркнул. Тогда я впервые подумала, что моё прошлое скрывали не из жалости и не ради спокойствия. Его охраняли.

Я не страдала из-за этого каждый день. Это важно. Я не была девочкой, которая сидит у окна и ждёт настоящих родителей. Я не придумывала себе благородную мать или отца с трагической тайной. Бесс была моей семьёй. Просто в нашей семье существовала комната, куда мне нельзя было входить, и вопрос, на который мне не отвечали.

К двадцати двум годам я почти научилась с этим жить. У меня были учёба, работа, тема исследования и репутация человека, с которым лучше не спорить, если плохо помнишь источники. Я занималась эпохой Тюдоров — точнее, Анной Болейн и тем, как её образ менялся

в чужих руках. Меня раздражали слишком простые версии: Анна-соблазнительница, Анна-жертва, Анна-ведьма, Анна-мученица, женщина, из-за которой король сломал страну, или женщина, которую сломал король. Люди любили выбирать одну картинку и держаться за неё так крепко, будто сложность была личным оскорблением.

Я не верила в такие картинки. Возможно, потому что сама не знала, какую картинку можно было бы выбрать для меня: подкидыш, воспитанница Бесс, девушка из библиотеки, исследовательница, человек без семейной истории. Все эти слова были правильными, но ни одно не закрывало вопрос до конца.

В тот год октябрь в Кембридже выдался мокрым и холодным. Дождь не делал город красивее, как любят писать в туристических заметках; он просто затемнял камень, прибавал листья к ступеням и заставлял студентов приходиться в читальный зал с красными носами и видом людей, совершивших подвиг ради науки. Я любила это время не за погоду, а за честность. Летом Кембридж слишком легко превращался в открытку. Осенью из него уходила гладкость, и оставались каменные проходы, поздний свет в окнах, мокрые дворы и ощущение, что за каждой стеной есть ещё одна история, но никто не обязан рассказывать её тебе сразу.

В последний понедельник октября я сидела в читальном зале над письмами и выписками, относящимися к раннему периоду брака Анны и Генриха. Меня занимал не сам брак, а язык вокруг него: как менялись формулировки, когда ожидание сына превращалось в напряжение; как вежливые письма становились осторожнее; как женское тело незаметно превращалось в государственную территорию, где у самой женщины оставалось всё меньше права на частную боль.

Я перечитывала одну строку уже третий раз, когда Бесс положила передо мной карточку.

— Новый курс, — сказала она.

Я подняла глаза.

— Если это опять про историческую память и национальные мифы, я из принципа сбегу в Оксфорд.

— Не драматизируй. Оксфорд тебя не выдержит.

— Я польщена.

Бесс не улыбнулась, и я сразу поняла: дело не в курсе.

На карточке было напечатано:

Оуэн Дюбуа. Тюдоры: Власть, церемониал и частная жизнь короля

Я прочитала имя один раз, потом второй. Ничего особенного в нём не было, но мне стало неприятно. Не страшно, не больно — именно неприятно, как бывает, когда видишь знакомую вещь в чужом месте и не можешь сразу понять, почему она там оказалась.

— Ты его знаешь? — спросила я.

Бесс поправила очки.

— Его репутацию.

— Я спросила не это.

— Ты часто спрашиваешь не это.

— Бесс.

Она посмотрела на меня спокойно. Слишком спокойно.

— Тебе стоит сходить на первую лекцию.

— Почему?

— Потому что он говорит о Тюдорах так, как тебе не понравится.

Это уже было почти приглашением.

Я взяла карточку и провела пальцем по имени. Оуэн Дюбуа. Рыжий или седой, занудный или эффектный, очередной специалист с любовью к собственному голосу — какая, в сущности, разница. Но Бесс смотрела на карточку так, будто на ней стояло не имя преподавателя, а дата, к которой она давно готовилась.

За окнами темнело. В читальном зале включили лампы, и столы стали отдельными кругами света. В дальнем конце зала виднелись высокие книжные полки, а за ними начинался коридор к закрытому архиву. Я посмотрела туда, потом снова на карточку.

— Это имя связано со мной? — спросила я.

Бесс молчала так долго, что ответ стал ясен ещё до того, как она произнесла хоть слово.

— Не сегодня, Элинора.

Я усмехнулась, хотя смешного в этом не было.

— Моё любимое семейное предание.

— Не сегодня, — повторила она.

Бесс взяла со стола связку ключей и направилась к дальнему коридору. У закрытой двери она остановилась, словно прислушалась к чему-то за толстым деревом, потом сняла с кольца маленький тёмный ключ. Я поднялась со стула.

— Бесс?

Она не обернулась. Ключ коснулся замочной скважины, но не вошёл в неё. Через несколько секунд Бесс снова спрятала его в ладони и пошла дальше по коридору, туда, где лампы горели реже.

Глава 2. Оуэн Дюбуа

Наутро Бесс вела себя так, будто накануне вечером ничего особенного не случилось. Она проверяла заявки на выдачу рукописей, выговаривала младшему сотруднику за неправильно заполненный журнал и без всякого сожаления отправила обратно аспиранта, который попытался пройти в читальный зал с кофе. Всё было как обычно: её тон, её аккуратные пометки на полях, её привычка не трогать слов там, где хватало одного взгляда.

Если бы я не видела, как она достала маленький тёмный ключ и остановилась у двери закрытого коридора, я, наверное, решила бы, что сама придала вчерашнему разговору слишком сильное значение. Но карточка с именем Оуэна Дюбуа лежала у меня в папке между выписками о первых годах брака Анны и Генриха. Я несколько раз доставала её, перечитывала строчку и убирала обратно, каждый раз злясь на себя за эту глупую настойчивость. Имя как имя. Бумага как бумага. Но после вчерашнего оно уже не могло быть для меня просто именем.

Я выдержала до половины десятого. Потом подошла к её столу и положила карточку рядом с открытым каталогом.

— Ты всё-таки объяснишь, почему вчера достала ключ?

Бесс не подняла глаз сразу. Она дописала номер заявки, закрыла чернильницу, отложила перо и только после этого посмотрела на меня.

— Вчера я доставала много ключей.

— Бесс.

— Тогда не спрашивай так, чтобы я могла ответить формально.

Я села напротив, хотя собиралась стоять. Стул был старый, с жёсткой спинкой; в этой библиотеке даже мебель будто воспитывала осанку. Я подумала, что когда-нибудь обязательно напишу статью о том, как закрытые фонды влияют на характер людей. Бесс в ней прошла бы отдельной главой.

— Хорошо. Имя Оуэна Дюбуа было на том листе, который нашли со мной?

В её лице почти ничего не изменилось. Почти. Но я слишком хорошо знала Бесс, чтобы не заметить эту короткую паузу перед ответом.

— Значит, ты всё-таки нашла упоминание о листе.

— Я нашла вычеркнутую строку в черновой описи. Если хотела спрятать лучше, надо было вычёркивать более решительно.

— Учту.

— Это не смешно.

— Я и не смеюсь.

Она откинулась на спинку кресла. За её плечом в окне виднелся внутренний двор: мокрый камень, низкое небо, двое студентов под одним зонтом. В такие минуты особенно обидно, что вокруг всё остаётся обычным. Ты сидишь напротив женщины, которая знает о твоём появлении на свет больше, чем говорит, а кто-то за окном всё равно опаздывает на лекцию и держит папку над головой, потому что зонта на двоих уже не хватает.

— Элинор, — сказала Бесс, — сходи на первую лекцию. Послушай его. Потом мы поговорим.

— Ты правда считаешь это ответом?

— Нет. Я считаю, что сейчас это лучшее, что ты можешь сделать.

— Для кого лучшее?

— Для тебя.

Я усмехнулась.

— Ты так говоришь с моего детства. “Для тебя”, “позже”, “не сейчас”. У тебя есть целый набор фраз для случаев, когда ты не хочешь отвечать.

Бесс долго смотрела на меня. Не сердито. Скорее устало.

— Я не хочу, чтобы ты узнала всё не с того конца.

— А у правды есть правильный конец?

— У некоторых историй — да.

Мне хотелось возразить, но я промолчала. Не потому, что согласилась. Просто поняла: дальше она ничего не скажет. Бесс умела закрывать разговор так, что появлялось ощущение будто перед твоим носом хлопнули дверью. Сядет ровнее, возьмёт перо, вернётся к заявкам — и всё, можно хоть час стоять перед ней с обвинениями, она всё равно не даст тебе больше ни одной лишней фразы.

— Я пойду на лекцию, — сказала я.

— Хорошо.

— Не потому, что ты велела.

— Кто бы сомневался.

Она снова склонилась над каталогом. Я забрала карточку и вышла из кабинета, стараясь не хлопнуть дверью. В двадцать два года хлопнуть дверями нелепо, даже если очень-очень хочется.

Лекция начиналась в полдень в старом корпусе. Я пришла раньше почти на двадцать минут и сказала себе, что это просто ради того, чтоб занять хорошее место. На самом деле мне нужно было побыть в аудитории до его появления. Осмотреть окна, выходы, кафедру, ряды. У меня была такая привычка: сначала понять комнату, а потом уже решить для себя слушать ли мне человека в ней.

Аудитория оказалась небольшой, с тёмными деревянными скамьями, высокой кафедрой и окнами, через которые осенний свет проходил слишком тускло. На стене висела копия портрета Генриха VIII. Король смотрел прямо, тяжело, с той самоуверенностью, которую веками переписывали с одного изображения на другое. Я села во втором ряду, открыла блокнот и написала дату. Ниже, сама не сразу заметив это, вывела: Оуэн Дюбуа.

Люди заходили постепенно. Несколько студентов, двое преподавателей, пара аспирантов, которым явно было интересно, почему вокруг нового курса за неделю успело появиться столько разговоров. За спиной кто-то шепнул, что Дюбуа работал с закрытыми архивами во Франции. Кто-то ответил, что он, кажется, из Уэльса. Я не обернулась. Университетские сплетни редко помогают понять человека, зато отлично показывают, чего от него уже все ожидают.

Оуэн Дюбуа вошёл ровно в полдень.

Он не остановился в дверях, не обвёл аудиторию долгим взглядом, не стал ждать тишины. Просто прошёл к кафедре, положил на неё тонкую папку, снял перчатки и только потом посмотрел в зал.

Первое, что я отметила, — волосы. Тёмно-рыжие, с медным отливом, не яркие, но заметные даже в этом плохом свете. Потом лицо: резкие скулы, светлая кожа, тонкий рот, серозелёные глаза. Он был моложе, чем я ожидала, но назвать его юным было невозможно. В нём чувствовалась не зрелость лет, а привычка держать себя выше.

Одет он был без профессорской небрежности: тёмный костюм, белая рубашка, галстук в тон. Никаких заплаток на локтях, шарфов, мятых бумаг и рассеянного обаяния человека, который живёт между лекциями и недопитыми чашками чая. Оуэн выглядел так, будто каждый предмет на нём был выбран заранее и без чужих советов. Это раздражало. Ещё больше раздражало то, что ему это шло.

Он открыл папку, но в неё не посмотрел.

— Начнём с того, что чаще всего мешает разговору об эпохе Тюдоров, — сказал он. — С желания сделать её красивее, чем она есть на самом деле.

Голос у него был низкий, спокойный, без театральных наворотов. Он говорил негромко, но в аудитории быстро перестали шуршать бумагами и шуметь.

— Мы часто думаем, что понимаем людей прошлого лучше их современников, потому что знаем финал. Это удобная позиция. Особенно когда речь идёт об Анне Болейн.

Я подняла глаза.

— Для одних она интриганка, разрушившая королевский брак и прежний порядок. Для других — невинная жертва, убитая проявлением мужской власти. Для третьих — почти современная женщина, которой не повезло родиться в XVI веке. Все эти версии удобны. И все опасны, если становятся единственными.

Раздражение пришло сразу. Не потому, что он говорил глупости. Наоборот. Меня злило, что он произносил мысли, близкие моим, но делал это так, будто собирался тут же отнять у меня право с ним согласиться.

— Анна Болейн не была ни лозунгом, ни святой, ни придворной легендой, — продолжил он. — Она была женщиной при дворе, где каждое движение имело последствия. Где тело королевы было не только её телом. Где беременность становилась политикой, роды — государственным делом, а дочь вместо сына могла изменить отношение к женщине быстрее, чем любой заговор.

Теперь я уже не записывала. Я смотрела на него и думала о собственных выписках, оставшихся сегодня утром на столе. Я сама несколько часов назад писала почти о том же: о языке писем, о постепенном смещении тона после рождения Елизаветы, о том, как женская судьба при дворе зависела не только от любви короля, но и от пола ребёнка.

Оуэн подошёл к доске и написал мелом три слова: власть, обряд, тело.

— Без этого двор Тюдоров превращается в костюмированную картинку. А он был не картинкой. Это была среда, где место в процессии, ткань платья, доступ к покоям, обращение, поклон и даже молчание могли значить больше, чем прямое заявление.

Я подняла руку. Он заметил этот мой жест сразу. Слишком быстро, будто ждал.

— Да?

— Элинор Вейл.

— Я знаю.

По аудитории прошёл едва слышный шепоток. Я не стала оборачиваться.

— Вы говорите так, будто современные попытки защитить Анну неизбежно делают её проще. Но ведь её веками упрощали не те, кто ей сочувствовал. Её упрощали обвинениями.

Оуэн посмотрел на меня внимательнее.

— Сочувствие тоже умеет упрощать.

— Умеет. Но это не значит, что оно всегда лжёт.

— А вы хотите вернуть ей её правду?

— Я хочу, чтобы её перестали загонять в одну единственную роль. Соблазнительница, жертва, ведьма, мученица — всё это чужие рамки. Анна не обязана быть безупречной, чтобы её гибель была несправедливой.

В первом ряду кто-то перестал писать. Оуэн молчал, и в этой паузе не было растерянности. Он будто проверял, где в моём ответе есть слабое место.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Тогда вы готовы говорить о её жестокости?

— Если вы готовы говорить о жестокости Генриха, не называя её всякий раз государственным просчётом его Величества.

Он едва заметно улыбнулся. Не тепло. Скорее так, будто я наконец сказала то, чего он ждал.

— Вы пришли спорить.

— Я пришла слушать. Но вы быстро усложнили мне задачу.

На этот раз в аудитории действительно кто-то тихо засмеялся. Оуэн не сделал замечания и вернулся к кафедре.

Дальше лекция пошла уже без прямого столкновения, но я чувствовала, что он время от времени обращается ко мне, даже когда смотрит в другую сторону. Он говорил о дворцовой повседневности, о родах королевы как публичном событии, о женщинах вокруг Анны, которые одновременно служили ей, наблюдали за ней и зависели от того, как менялось настроение короля. Он не рассказывал “интересные факты”, не украшал эпоху, не смаковал жестокость. И именно поэтому XVI век в его изложении становился неприятно живым.

Особенно — Генрих.

Оуэн не делал из него ни чудовище, ни романтического принца, ни, тем более, тирана. Он говорил о человеке, который мог быть обаятельным, щедрым, образованным, внимательным к музыке и богословским спорам, а потом требовать от мира полного подчинения своему желанию. С такой фигурой труднее. Карикатурного злодея легко осудить. Живого короля приходится понимать, даже когда это понимание вызывает отвращение.

Когда Оуэн остановился рядом с портретом Генриха, я вдруг заметила странное сходство. Не буквальное: у короля на портрете было широкое лицо, тяжёлый взгляд, уверенность человека, привыкшего видеть собственную власть в золоте и мехах. Оуэн был тоньше, резче, холоднее. Но в рыжем оттенке волос, в линии подбородка, в манере держать голову было что-то общее. Как будто художник когда-то взял одну и ту же основу, а потом сделал два разных портрета: один — для короля, другой — для человека, который стоял сейчас здесь.

Я опустила глаза в блокнот и заставила себя писать.

К концу лекции у меня было исписано несколько страниц. Это раздражало больше, чем хотелось признавать. Я не любила, когда человек, который мне не нравится, оказывается хорош в своём деле. Неприязнь такого рода сразу приходится уточнять, а это неудобно.

Когда все начали расходиться, я медленно сложила вещи. Мне нужно было подойти к нему. Спросить об имени, о Бесс, о листе из старой книги. Но вокруг толпились студенты, кто-то задавал вопросы, один преподаватель слишком старательно изображал равнодушие. Я решила уйти и поговорить позже.

— Госпожа Вейл.

Я остановилась у двери. Несколько человек обернулись и тут же сделали вид, что торопятся по своим делам.

Оуэн стоял у кафедры и держал в руке мою карточку. Ту самую, с его именем. Я была уверена, что оставила её в папке.

— Вы забыли.

Я вернулась и взяла карточку, стараясь не показать удивления.

— Спасибо.

— Бесс дала вам её?

Я подняла глаза.

— Вы знаете Бесс?

— Знаю, кто она.

— Это не одно и то же.

— В вашем случае — почти.

Фраза была странная, но произнесена так буднично, что на секунду я усомнилась, правильно ли расслышала.

— Что значит “в моём случае”?

Оуэн убрал листы в папку. На его левой руке было тонкое серебряное кольцо без камня. Я почему-то заметила его слишком отчётливо. Может быть, потому что его пальцы были совсем близко от моей руки. Достаточно близко, чтобы я вдруг вспомнила: мы стоим у кафедры почти одни, и этот человек знает обо мне больше, чем имеет право.

— Спросите у неё.

— Я спрашивала. Она отправила меня к вам.

— Значит, она решила начать с лекции. Разумно.

— Вы сговорились?

Он посмотрел на меня без улыбки.

— Нет.

— Но вы знаете, почему моё появление у дверей библиотеки связано с вашим именем? На этот раз пауза была настоящей. Очень короткой, но настоящей.

— С моим именем?

— С именем на листе. Оуайн дю Буа. Или вы сейчас скажете, что это простое совпадение?

В аудитории ещё оставались люди, и это мешало ему ответить. Я видела, как он отмечает каждую лишнюю спину, каждый медленный шаг к выходу, каждый заинтересованный взгляд. Наконец последний студент забрал шарф со скамьи и вышел в коридор.

Оуэн заговорил тише:

— Не произносите это имя при посторонних.

— Почему?

— Потому что Бесс слишком долго старалась, чтобы вы дожили до возраста, когда сможете задавать такие вопросы.

Это прозвучало не как угроза. Хуже. Как факт.

Я почувствовала, как внутри поднимается злость. Не громкая, а холодная, почти удобная.

— Вы не имеете права говорить со мной так, будто тоже что-то решали за меня.

— Я ничего не решал за вас.

— Но знаете тех, кто решал.

Он не ответил сразу. Потом взял с кафедры книгу в тёмном переплёте и протянул мне.

— Возьмите.

— Что это?

— Раздел о церемониях после королевских родов. Вам пригодится.

— Для спора на следующей лекции?

— И для него тоже.

Я не взяла книгу сразу.

— Почему вы мне её даёте?

— Потому что вы всё равно будете искать. Лучше начните с текста, а не с догадок.

Так могла бы сказать моя Бесс, и именно поэтому я разозлилась ещё сильнее. Я всё-таки взяла книгу. Она оказалась тяжёлой, с потёртым золотым тиснением на корешке. На первом листе стоял штамп закрытого фонда. Не нашего, но очень похожий.

Оуэн не отпустил книгу в ту же секунду. Его пальцы оставались на переплёте, мои — на другом краю. Всего несколько мгновений, не больше. Но я слишком ясно почувствовала эту паузу: тяжесть книги, тепло его руки рядом с моей, расстояние между нами, которое вдруг стало меньше, чем положено между преподавателем и студенткой после лекции.

Я подняла глаза. Он смотрел не на книгу. На меня.

— Отпустите, — сказала я.

Голос прозвучал ровнее, чем я ожидала.

— Вы уверены?

— В том, что хочу забрать книгу? Да.

— Я спрашивал не о книге.

Сказать, что я растерялась, было бы слишком великодушно к себе. Я просто на секунду перестала понимать, как устроен обычный разговор. Вокруг были кафедра, скамьи, доска с тремя словами, портрет Генриха на стене. Всё на месте. Только Оуэн стоял слишком близко, говорил слишком тихо и смотрел так, будто знал не только мои вопросы, но и тот ответ, которого я сама боялась.

Я потянула книгу на себя. Он отпустил.

— Вы всегда говорите так двусмысленно? — спросила я.

— Только когда собеседник делает вид, что не понимает прямого смысла.

— Вы слишком самоуверенны.

— А вы слишком быстро начинаете злиться, когда вам страшно.

Я хотела ответить сразу. Резко, желательно так, чтобы он пожалел о собственном наблюдении. Но он оказался прав, и это было хуже всего. Мне было страшно. Не только из-за имени, Бесс, старой книги и лепестка. Страшно было оттого, что рядом с этим человеком моя злость слишком легко смешивалась с чем-то другим.

— Откуда она? — спросила я, заставив себя вернуться к книге.

— Из старой библиотеки.

— Конкретнее?

— Пока не могу.

Слово снова прозвучало между нами. То самое, которым Бесс годами закрывала двери прямо перед моим носом.

— Вы все очень любите это “пока”.

Оуэн посмотрел на меня внимательно, уже без этой своей холодной насмешки.

— А вы очень не любите ждать.

— Я ждала достаточно.

Он хотел что-то сказать, но в коридоре послышались шаги. Кто-то остановился у открытой двери, и Оуэн сразу отступил на полшага. Теперь между нами снова было обычное расстояние: преподаватель, студентка, книга после лекции. Ничего, что можно было бы пересказать без риска показаться слишком чувствительным или смешным.

Я прижала книгу к себе и пошла к выходу. У двери я не сдержалась и всё-таки обернулась.

— Профессор Дюбуа.

— Да?

— Я всё равно узнаю.

Он стоял у кафедры с папкой в руках. Из окна было достаточно света, чтобы рыжий оттенок его волос стал резче.

— Не сомневаюсь, — сказал он.

Я вышла в коридор. За высокими окнами дождь шёл плотнее, чем утром; студенты перебегали от арки к арке, прикрывая головы папками и шарфами. Я отошла от аудитории на несколько шагов и открыла книгу прямо на ходу.

Между страницами лежал засушенный лепесток тёмной розы.

За моей спиной дверь аудитории закрылась.